

**«РУССКИЙ МИРАЖ» КАК ПРООБРАЗ
«РУССКОЙ ИДЕИ»:
«Предисловие к “Балалайке”» Поля де Жюльвекура**

В последние годы появился ряд работ, в которых указываются западно-европейские источники славянофильских и русофильских идеологических конструктов; А. Л. Зорин, А. М. Песков¹ и др. убедительно показали, что теории Уварова и Хомякова, Шевырева и Киреевского восходят к философским трудам Ф. Шлегеля, Гердера, Гегеля; сейчас все чаще вспоминают затерянную в эмигрантской периодической печати замечательную работу П. Б. Струве, из которой следует, что само определение западной культуры как «гнилой» почерпнуто из западной же, а именно французской публицистики².

Однако один из иностранных источников этих представлений о российской исключительности, об уникальном месте, которое занимает Россия в европейской политической цивилизации и о той мессианской роли, которую она обязана по отношению к этой цивилизации сыграть, до последнего времени не привлекал внимания исследователей. Говоря об «источнике», я не имею в виду какой-то один определенный текст или даже сочинения одного определенного автора; я говорю о целом пласте французской словесности и публицистики, создававшимся совместными усилиями русских и французских литераторов. По аналогии с понятием, предложенным французским исследователем Альбером Лортолари в его книге 1951 г. «Философы XVIII столетия и Россия: русский мираж во Франции в XVIII веке»³, я назвала этот комплекс представлений «легитимистским рус-

¹ См.: *Зорин А. Л.* Идеология «православия — самодержавия — народности»: Опыт реконструкции // Новое литературное обозрение. 1997. № 26; *Зорин А. Л.* Кормя двуглавого орла... Литература и государственная идеология в России в последней трети XVIII — первой трети XIX века. М., 2001. С. 337–373; *Песков А. М.* «Коммунизм — неотвратимая судьба России»: Историко-философская логика Н. А. Бердяева // Отечественные записки. 2004. № 5. С. 55–67; *Песков А. М.* «Русская идея» и «русская душа»: Очерки русской историософии. М., 2007.

² См.: *Струве П. Б.* С. П. Шевырев и западные внушения и источники теории-афоризма о «гнилом» или «гниющем» Западе // Записки Русского института в Белграде. 1941. Т. 16. С. 201–263.

³ *Lortholary A.* «Les «Philosophes» du XVIIIe siècle et la Russie: le mirage russe en France au XVIIIe siècle. Paris, 1951.

ским миражом»⁴. Прежде чем перейти непосредственно к предмету данной статьи — предисловию Поля де Жюльвекура к сборнику «Балалайка» (1837), — позволю себе кратко повторить то, что я написала об этом комплексе представлений несколько лет назад.

Между русскими миражами XVIII и первой половины XIX веков имелись важные качественные отличия. Если мираж философов XVIII века носил «прогрессистский» характер (Россия изображалась как страна более передовая и более открытая новым веяниям, чем абсолютистская Франция), то мираж французских легитимистских публицистов 30–40-х годов XIX века был миражом консервативным: монархическая Россия противопоставлялась конституционному хаосу Франции как царство порядка, как едва ли не единственное место в Европе, где абсолютная монархия не только сохраняется, но и процветает на благо государей и их подданных.

Мы ограничиваем существование легитимистского «русского миража» рамками 1830–1840-х гг., то есть эпохой Июльской монархии; в эпоху Реставрации «русский мираж» не мог обрести полной силы, потому что в это время французские консерваторы-ультрароялисты еще не теряли надежды на воскрешение абсолютной монархии и установление «патриархальных» порядков в своей собственной стране; строго говоря, именно эту цель и преследовали опубликованные 26 июля 1830 года королем Карлом X ордонансы, которые послужили причиной Июльской революции и смены династии. В результате ультрароялисты оказались полностью оттеснены от власти, и чем меньше оставалось у них надежд на установление «идеальных», с их точки зрения, порядков дома, во Франции, тем больше места занимали в их публицистике описания идеального государственного устройства России. Именно это неучастие легитимистов в политической жизни июльской Франции имела в виду остроумная журналистка Дельфина де Жирарден, когда назвала их положение «внутренней эмиграцией»⁵. Одни в этой «внутренней эмиграции» тратили время лишь на светские забавы (безжалостно высмеянные той же Жирарден); другие занимались построением идеологических конструкторов.

«Мифологизации» и «идеологизации» подвергалась именно Россия, а не другая абсолютная монархия (Австрия или Пруссия). По-видимому, на это повлияли и традиционные для части французского общества представления о том, что Россия, не имеющая с Францией общих границ, — ее естественная союзница⁶, и тот факт, что в доже-

⁴ См. подробнее: *Мильчина В. А.* Россия и Франция: дипломаты, литераторы, шпионы. СПб., 2004. С. 344–389.

⁵ *Жирарден Д. де.* Парижские письма виконта де Лоне. М., 2009. С. 198.

⁶ См. об этом, в частности: *Corbet Ch.* L'opinion française face à l'inconnue russe. P. 1967. P. 56–65, 73–77.

лезнодорожную пору путешествие в Россию оставалось по причине ее отдаленности от Франции и разницы климатов делом достаточно сложным и «экзотическим», а значит, Россию легче было представить в утопическом свете, чем гораздо более знакомую и доступную для путешествий Пруссию или Австрию⁷. Важно подчеркнуть, что речь идет о пропаганде не франко-русского союза, но того безупречного социального устройства, какое якобы существует в монархической России и какого лишена парламентская июльская Франция. Французским авторам и прежде случалось писать о России как о стране, где социальная гармония достигается в обход политических установлений; эта точка зрения нашла свое афористическое выражение в реплике Жермены де Сталь, обращенной в 1812 году в Петербурге к императору Александру: «В вашей империи конституцией служит ваш характер, а порукой в ее исполнении — ваша совесть»⁸. В легитимистской прессе 1830–1840-х годов подобные трактовки России стали правилом.

Легитимисты, воспевавшие русский монархический «порядок», были публицистами и журналистами, а не философами; они не создали законченной доктрины; в данном случае правильнее говорить об общей установке, о переходе из одного сочинения в другое некоего не слишком богатого набора понятий: порядок, покорность подданных монарху и отеческая забота монарха о подданных, благоденствие, проистекающее не из соблюдения конституционных установлений, а из верности патриархальной традиции. В России ту же мысль об идеальном «порядке», который составляет одно из главных отличий самодержавной России от «беспорядочных» стран Европы, выдвинул в начале 1830-х годов С. С. Уваров. Уже в черновом письме на имя Николая I, датированном мартом 1832 года, подчеркнута связь — разумеется, по контрасту — выдвинутой доктрины с французскими событиями 1830 года. А. Л. Зорин, впервые опубликовавший это черновое письмо, подчеркивает, что, цитируя восклицание «одного из творцов июльской революции г. Гизо»: «У общества нет более политических, нравственных и религиозных убеждений», — Уваров исказил намерения Гизо, чье выступление в палате депутатов менее всего походило на «воплъ отчаяния», а совсем напротив, прославляло воцарившуюся в июльской Франции

⁷ Сходным образом дело обстояло в XVIII веке, когда реальная Россия была еще менее известной и казалась еще более экзотической, так что французские авторы охотно приписывали ей самые разные воображаемые характеристики; см.: *Вульф Л.* Изобретая Восточную Европу: Карта цивилизации в сознании эпохи Просвещения. М., 2003. С. 295–350, *passim*.

⁸ *Сталь Ж. де.* Десять лет в изгнании / Перевод и примечания В. Мильчиной. М., 2003. С. 225.

«любовь к порядку»⁹. Однако в рамках концепции Уварова такое использование слов Гизо более чем логично, ибо как раз в наличии «порядка» Уваров — как и французские легитимисты — послереволюционной Франции решительно отказывает. Образ России, обладающей «якорем», который позволит ей «выдержать бурю», России, наделенной «началами, поддерживающими порядок»¹⁰, строится у Уварова по контрасту с хаосом, воцарившимся в Европе после 1830 года. Буйной Франции, обольщающейся «химерами ограничения власти монарха» и «национального представительства на европейский манер», предлагалось брать пример со спокойной и упорядоченной России. Причем предложения эти исходили не только от русских официальных и официозных мыслителей и публицистов, но и от публицистов и журналистов французских.

Следы легитимистского «миража» можно встретить в самых разных сочинениях и русских, и французских авторов: от Уварова до маркиза де Кюстина (который с верою в этот мираж ехал в 1839 году в Россию и с разочарованием в нем оттуда вернулся¹¹), от безымянных журналистов из легитимистских «Gazette de

⁹ Зорин А. Л. Идеология «православия — самодержавия — народности». С. 76–78; Зорин А. Л. Кормя двуглавого орла... С. 345–349.

¹⁰ Зорин А. Л. Идеология «православия — самодержавия — народности». С. 97.

¹¹ Образ России, представлявшийся Кюстину до путешествия — это тот самый образ, какой создавали в своих статьях и брошюрах французские легитимисты и их русские коллеги. Полагаясь на чужие хвалебные отзывы, Кюстин надеялся обрести в Российской империи не что иное, как покой и порядок. «Я желал повидать страну, — пишет он, — где царит покой уверенной в своих силах власти <...>. Что бы ни окружало вас в России, что бы ни поражало взор ваш — все имеет вид устрашающей правильности. <...> На языке официальном эта жестокая тирания именуется любовью к порядку, и для умов педантических сей горький плод деспотизма столь драгоценен, что за него, считают они, не жаль заплатить любую цену. Живя во Франции, я и сам полагал, что согласен с этими людьми строгого рассудка» (Кюстин А. де. Россия в 1839 году. 3-е изд. СПб., 2008. С. 623–624). «Люди строгого рассудка», с которыми полемизирует Кюстин, — это те самые, кто искренне или из корысти рисовал в статьях, публикуемых во французской прессе, образ России как идеальной монархии. Веря их рассказам, Кюстин отправился в Россию, «дабы отыскать там доводы против представительного правления» (Там же. С. 17), однако после поездки в эту страну «мираж» рассеялся: Кюстин вернулся во Францию «сторонником конституций»; побывав в России, он понял, что вместо покоя «там царит одно лишь безмолвие страха». Увидев воочию, что такое «грозная власть, подчиняющая население целой империи воинскому уставу», он признал, что ему «милее умеренный беспорядок, выказывающий силу общества, нежели безупречный порядок, стоящий ему жизни» (Там же. С. 624).

France» или «Quotidienne» до агента Третьего Отделения в Париже Я. Н. Толстого, автора франкоязычной брошюры о русском законодательстве¹², и Оноре де Бальзака, автора «Письма о Киеве» (1847)¹³. Сочетание даже в этом кратком перечне французских и русских имен не случайно: дело в том, что «русский мираж» XIX века, точно так же, как и «русский мираж» века XVIII, создавался совместными усилиями обеих сторон. В XVIII веке французские философы, по крайней мере, на первых порах, склонны были верить тем — существенно идеализированным и идеологизированным — представлениям о России, какие «подсказывала» им императрица Екатерина II; в XIX веке за статьями французских публицистов нередко выри-

¹² *Tolstoy J. Coup d'oeil sur la législation russe, suivi d'un léger aperçu sur l'administration de ce pays. Paris, 1839.* В этой брошюре Толстой писал: «Мы уверенно противопоставляем эту картину (русской жизни и русского законодательства. — В. М.) софистическим аргументам нынешних утопистов; она дает представление о том, на что способна воля одного человека, когда он не стеснен в ее исполнении. <...> Народные собрания, наделенные верховной властью, с огромным трудом приходят к единому мнению и действуют куда более беспорядочно, чем правительства монархические; пристрастное большинство, диктующее законы всей стране, почти всегда состоит из людей куда менее умных, чем те, какие составляют парламентское меньшинство; да ведь и во всем мире люди умные всегда пребывают в меньшинстве, не так ли? Большинство, которое подавляет меньшинство, — это правительство, действующее по принципу силы, иначе говоря, тирания, и притом коллективная, то есть худшая из всех. <...> Что случилось бы с русскими, будь Петр Великий ограничен в употреблении своей власти? Что случилось бы с русскими, если бы их депутаты собирались каждый год и проводили по шесть месяцев в обсуждении мер, о которых большинство из них не имеет ни малейшего представления?» (Р. 143–144).

¹³ См. наш перевод этого текста: *Бальзак О. де. Письмо о Киеве // Пинакотекa. 2002. № 13/14. Приложение. Бальзаковское рассуждение об умении русских покоряться власти, — умении, которое, по его убеждению, выгодно отличает их от поляков и французов, — дает превосходное представление о том видении России, которое исповедовали поклонники и пропагандисты легитимистского «русского миража»: «Эта русская покорность особенно поражает того, кто знаком с решительной неспособностью к повиновению, царящей во Франции. <...> Мне не составит труда показать, что русские созданы для того, чтобы покорять другие народы, и в этом им нет равных. Что же касается Франции, то умные люди не могут не скорбеть о духе неповиновения, царящем сегодня в нашей стране; точно так же, как и поляки, французы всё подвергают обсуждению, всё отрицают и страдают великой непоследовательностью в мыслях; каждый француз желает стать существом высшего порядка, подобно тому как при империи каждый желал стать полковником; каждый создает собственную систему, чтобы иметь повод для мятежа».*

совывалась направляющая рука русского идеолога, укорененного во французском идейном и журналистском контексте — такого, как князь Элим Мещерский¹⁴ или Яков Николаевич Толстой¹⁵.

Представляется, что в антологию текстов, иллюстрирующих становление и бытование «русской идеи» на Западе, должны непременно быть включены хотя бы некоторые из французских сочинений, посвященных утверждению и пропаганде «легитимистского русского миража».

Один из ранних и вполне типичных образцов французских легитимистских представлений об идеальной России — предисловие Поля де Жюльвекура (1807–1845) к его сборнику переводов русской поэзии «Балалайка. Русские народные песни и другие поэтические отрывки, переведенные стихами и прозой»¹⁶. В этот текст весьма компактно вместились все основные стереотипы, связанные с интересующим нас идеологическим комплексом.

Прежде чем перейти непосредственно к тексту Жюльвекура, следует сказать несколько слов о его авторе.

Жизнь Поля де Жюльвекура (1807–1845) была тесно связана с Россией. Впервые он приехал сюда, по всей вероятности, в 1833 году¹⁷, вернулся летом 1834 г.¹⁸, женился на русской¹⁹, прожил в России

¹⁴ См. о нем: *Мазон А.* «Князь Элим» // Литературное наследство. М., 1937. Т. 31/32. С. 373–490.

¹⁵ См. подробнее: *Мильчина В. А.* Россия и Франция: дипломаты, литераторы, шпионы. С. 344–389.

¹⁶ *Julvécourt P. de.* La Balalaïka, chants populaires russes et autres morceaux de poésie traduits en vers et en prose. Paris, 1837

¹⁷ В позднем стихотворном сборнике «Зимние цветы» (*Fleurs d'hiver*, 1842) стихотворение «Нева» датировано 7 июня 1833 г., а еще одно стихотворение с упоминанием Москвы и катания в санях — январем 1834 г.

¹⁸ См.: ГАРФ. Ф. 109. 3-я эксп. № 107 (1834).

¹⁹ Жена Жюльвекура Лидия Николаевна, по первому мужу Кожина, была дочерью литератора и путешественника Николая Сергеевича Всеволожского (1772–1857); его впечатления об общении в Париже в 1839 г. с легитимистскими знакомыми зятя см.: *Всеволожский Н. С.* Путешествие чрез Южную Россию, Крым и Одессу в Константинополь, Малую Азию, Северную Африку, Мальту, Сицилию, Италию, Южную Африку и Париж в 1836 и 1837 годах. М., 1837. Т. 2. С. 336, 496, 499. Дочь Жюльвекура родилась в декабре 1835 г. (это явствует из его «биографических» стихотворений в сборнике «Зимние цветы»), значит, женился он не позже начала этого года. О Жюльвекуре см.: *Cadot M.* La Russie dans la vie intellectuelle française (1839–1856). Paris, 1967. P. 60–61, 407–411; *Corbet Ch.* L'opinion française face à l'inconnue russe. P. 191–193; *Henry H.* Paul de Julvécourt entre la France et la Russie // La Revue russe. 1993. N 5. P. 15–18.

семь лет²⁰ и пытался знакомить французов с русской словесностью: в 1837 г. выпустил в Париже уже упомянутый сборник «Балалайка», а в 1843 г. — сборник «Ятаган», куда включил свои переводы «Пиковой дамы» Пушкина и «Ятагана» Н. Ф. Павлова; умер Жюльвекур (от аневризмы) тоже в Москве. Кроме переводов (впрочем, весьма вольных), Жюльвекур оставил оригинальные произведения, так или иначе связанные с русско-французской тематикой, что отражено в самих названиях: в 1842 г. он выпустил уже упоминавшийся роман «Настасья, или Сен-Жерменское предместье Москвы»²¹, а в 1843 г. — роман «Русские в Париже».

Жюльвекур не вступил в русскую службу, и тесная его связь с Россией объяснялась прежде всего причинами биографическими (женитьба), однако первый его приезд в Россию был мотивирован именно легитимистскими убеждениями и отторжением от современной французской политической (парламентской, конституционной) реальности. В автобиографической книге «Лоис. Из Нанта в Прагу» (1836) Жюльвекур писал, обращаясь к современникам-республиканцам: «Я, как и вы, верил в республику, и ради этой веры отрекся от убеждений моих монархических предков (для юной души, объята энтузиазмом, мечта о республике так сладостна); однако опытность и разум разбили мой кумир, и тот, кто отвергал наследственный легитимизм, сделался легитимистом по убеждению»²².

Для людей подобных взглядов поворот в сторону России был вполне естественным. Вот отчасти схожий случай: некто Бакье, при Реставрации начавший преподавательскую карьеру, а после Июльской революции имевший возможность, в силу давнего знакомства со старшим сыном нового короля Луи-Филиппа, начать карьеру дипломатическую, отвергает ее и предлагает свои услуги Бенкендорфу потому, что — если верить его признаниям — не желает изменять собственным роялистским принципам: «Лишившись родины в отношении политическом, я стал искать себе в Европе другую родину, и взгляды мои естественным образом устремились к России как стране, где принципы правительства близки моим собственным, как стране прекраснейшей в настоящем и могущей стать еще прекраснее в будущем»²³. Мы можем предположить, что

²⁰ Он сам сообщает об этом в предисловии к роману 1842 г. «Настасья, или Московское Сен-Жерменское предместье».

²¹ См. о нем подробнее в нашей статье «Чаадаев и французская проза 1830–1840-х годов» (Мильчина В. А. Россия и Франция: дипломаты, литераторы, шпионы. С. 466–468).

²² *Julvécourt P. de. Loys. De Nantes à Prague. Paris; Moscou, 1836. P. 207.*

²³ ГАРФ. Ф. 109. СА. Оп. 4, № 173. Л. 22–22 об. (оригинал по-французски). Характеристика России в письме Бакье, очень близка к той «точке зрения,

корреспондентом Бенкендорфа двигали не только идеологические, но и вполне прагматические соображения (на тайной русской службе он надеялся преуспеть больше, чем на открытой французской), но характерно, что под свои действия он считает нужным подвести «идеологическую базу» в духе того комплекса идей, которые мы назвали легитимистским «русским миражом». Жюльвекур, в отличие от Бакье, шпионом не стал, зато оставил текст, дающий превосходное представление о том, какой политический идеал часть французского общества в 1830–1840-е годы искала (и находила) в Российской империи.

Вот этот текст, открывающий сборник русских стихов во французских переводах Жюльвекура.

«В течение долгого времени Россия, эта огромная империя, площадь которой равняется одной двадцать восьмой части всей поверхности земного шара, а население составляет одну пятнадцатую часть всего населения планеты, империя, которая располагается в трех частях света и занимает едва ли не половину территории Европы, — эта Россия была нам почти неизвестна и мы имели о ней понятия самые смутные и самые поверхностные. — Если судить по нашему безразличию, по отсутствию у нас какого бы то ни было интереса к тому, что до нее касается, Россия являлась на нашем пиру не более чем гостем, недостойным нашего внимания, — гостем, которого вынуждены мы были терпеть по причине его физической силы, но к которому не желали даже присмотреться. — Между тем гость этот медленно, но верно занимал за нашим столом все больше места, и пока каждый из нас, жителей старой Европы, сторонился России, как дикого соседа-варвара, и отводил от нее взор, она по-прежнему двигалась вперед, она простира-
ла исполинскую руку и со своего северного полюса дотягива-

с какой следовало понимать и описывать русскую историю» по мнению самого Бенкендорфа. Впрочем, бенкендорфову формулу («Прошлое России было блестяще, ее настоящее более чем великолепно, а что касается ее будущего, оно превосходит все, что может представить себе самое смелое воображение») мы знаем только из воспоминаний М. И. Жихарева о Чаадаеве, от которого, по-видимому, и узнал мемуарист этот «довольно многозначительный», как он выражается, анекдот (см.: Русское общество 30-х годов XIX в. Люди и идеи. Мемуары современников. М., 1989. С. 105). Наличие похожей формулы в письме французского агента, не следует, разумеется, считать «источником» Бенкендорфова высказывания; напротив, совпадение свидетельствует, скорее, о распространенности такой точки зрения в «русофильской» среде и о том, что сказать нечто подобное мог едва ли не каждый. О Бакье см. также: *Черкасов П. П.* Русский агент во Франции. Яков Николаевич Толстой, 1791–1867. М., 2008. С. 178–180.

лась до полюса южного, она обрела могущество на деле, еще не обрета его на словах; никто еще не прозревал в ней даже королевского достоинства, а меж тем она уже обладала властью императорской.

Анархия, облетавшая земной шар, не миновала ни одной державы; с собою она приводила либо узурпацию, либо республику и предлагала государям старых монархий выбрать одно из этих двух зол; они уже готовы были уступить, как вдруг Россия, этот грозный, но позабытый ими гость, протянула меч и положила на чашу весов все свое исполинское могущество; потрясение оказалось столь сильным, что державы европейские не могли не очнуться.

Тут-то Европа и соизволила впервые открыть глаза. Она увидела в России свою единственную поддержку и опору, она поняла, что только Россия способна помочь ей возратить утраченное равновесие, укрепить основания, которые ежедневно подтачивала революционная пропаганда, и вот тогда-то Европа принялась изучать Россию во всех подробностях с усердием столь же великим, сколько великим было ее прежде беспечное безразличие. — Сегодня все европейцы запасаются паспортами, чтоб ехать в Петербург и Москву; Рим и его величественное прошлое больше не в моде; теперь Европа ищет свое будущее на берегах Невы.

Мы приезжаем в Россию, и с каким же изумлением открываем мы внезапно страну, которая ничем не уступает другим странам европейским в том, что касается просвещения и цивилизации, но которая зато отличается от них годами. Россия молода и, как всякое молодое существо, может похвастать нерастраченными силами, любовью к родным и отечеству. Другие же державы стары и, как всякое старое существо, не могут похвастать ничем, кроме душевной черствости, эгоизма и корыстолюбия.

Мы полагали найти в России правительство варварское, деспотическое, не ведающее ни законов, ни установлений, ни правосудия; не успели мы, однако, присмотреться к ней поближе, как ненависть наша, плод незнания и невежества, уступила место истинному восхищению: ведь в этой якобы деспотической стране все, от императора до самого ничтожного из его подданных, связаны между собою узами семейственными.

Что же касается императора, то в нем полагали мы найти жестокосердого северного султана, абсолютного монарха, чью железную десницу ощущают на себе подданные все до единого; увидели же государя, которого народ любит, почитает, боготворит, как отца. В указах, им издаваемых, зачастую ку-

да меньше произвола, нежели в ордонансах наших королев-граждан, издаваемых в согласии с органами представительной власти, а так называемые рабы, живя под властью своих помещиков, меньше страдают от рабского своего состояния, нежели мы, живя под властью нашей конституции, страдаем от нашей свободы.

Мы были убеждены, что пройдет еще несколько столетий, прежде чем торговля, промышленность, сельское хозяйство дерзнут обосноваться в стране снегов, увидели же мы, что все эти отрасли человеческой деятельности развиты в России так же, как у нас, а порой и куда лучше, чем у нас. Почва здесь плодороднее, жизненные припасы обильнее и сочнее, и кто знает, не превратится ли однажды провинция наук и искусств в их столицу? Русские больше не желают ездить на санях, они подумывают о железных дорогах. А в России люди исповедуют принцип: сказано — сделано.

Одним словом, Россия во всем обманывает наши представления и наши ожидания, и, позабыв о гордыне, мы вынуждены признать, что ни одна нация еще не шла так стремительно по дороге цивилизации. Россия — дитя-исполин, идущий вперед самыми быстрыми шагами. За одно столетие она преодолевает такое расстояние, какое другие — за десять.

Лишь в одном ухитрилась она каким-то чудом не подражать Европе: она избегла порчи! Цивилизация, возрастающая на российских просторах, прекраснее и мощнее прочих, плевелы не душат ее, и именно это позволяет нам предречь ее грядущее величие. У нас цивилизация вверена покровительству людей; в России ей покровительствует Бог. В первом случае цивилизация ведет в пропасть, во втором — в будущее.

Первое, что поражает в России, — это совершенно особенный характер веры, какая отличает ее жителей; это отенок, присущий ее небу и ее земле, ее городам и ее селам; это напоенный стариной и религией воздух, каким дышат ее жители; это печать величия и могущества, покоящаяся на всех ее предприятиях, на всех ее проектах, на всех ее памятниках. Здесь, в России, есть свой собственный местный колорит, какого не сыщешь нигде в мире. Лишь тот, кто долго пробыл в этой стране, кто исследовал ее со всех сторон, кто жил среди ее дворян, говорил с ее крестьянами, изучил русские нравы и русский язык, лишь тот способен понять и объяснить эту причудливую смесь всех эпох — переплетение верований первых христиан с просвещенными идеями девятнадцатого века.

Никто не может философствовать о России издали, как философствовал бы о других странах европейских. Мы всегда судим о чужом характере по нашему собственному, но о рус-

ском характере так судить невозможно, ибо ум у России европейский, лицо — азиатское, душа же ее принадлежит Господу.

И вот эти-то три совершенно различные ипостаси располагаю я соединить в одной картине, в которой — надеюсь — русская нация узнает свои нравы и обычаи, наряды и архитектуру, промышленность, язык и поэзию, и сумеет сравнить свою веру с нашим сомнением, свою законную монархию с нашим народным суверенитетом, своего императора с нашим королем, свою аристократию с нашей демократией, свое так называемое рабство с нашей так называемой свободой»²⁴.

Впрочем, все это Жюльвекур намеревался сделать в большом сочинении, которого в конечном счете не написал, так что предисловие к «Балалайке» осталось своего рода декларацией о намерениях.

Однако уже в том, что написано, прекрасно видны основные черты того «русского миража» или, если угодно «русского мифа» (прообраза «русской идеи»), который французские русофилы 1830–1840-х годов выдвигали в противовес «прогнившей» западной цивилизации. Жюльвекур утверждает, что Россия — страна порядка, противостоящая европейскому беспорядку и анархии; что Россия — страна будущего, противостоящая «ветхой», очерствевшей Европе; что в России установлен такой политический порядок, при котором место западноевропейского антагонизма между классами и сословиями занимает их семейственный союз; что Россия есть сила, способная защитить Европу от революционной пропаганды, «подтачивающей» ее основания, и наконец — что особенно существенно, если искать во французском легитимистском «русском мираже» прообраз собственно славянофильской «русской идеи» — он утверждает, что величие России — от Бога, что оно не вполне внятно уму, но открыто сердцу и вере.

Нет необходимости напоминать, насколько утопичны были эти представления Жюльвекура; в своих романах он и сам существенно откорректировал радужную и безупречную картину российского «социального мира», которая, по-видимому, диктовалась столько же реальным обольщением, сколько и желанием сделать себе имя на родине жены. Однако то, что мало пригодно для иллюстрации российской дей-

²⁴ Далее в предисловии к «Балалайке» следуют несколько страниц, посвященные собственно русской литературе и принципам ее перевода, избранным Жюльвекуром; их я опускаю, как не имеющих непосредственного отношения к предмету данной статьи. Отмечу лишь утверждение, что и русская литература неподвластна порче потому, что «в литературе, как и в политике, существуют законная власть, тот же, кто раз сошел с законной дороги, может блуждать очень долго до тех пор, пока не достигнет истинной цели — счастья в политике, бессмертия в литературе» (Р. XIII–XIV).

ствительности, исчерпывающе иллюстрирует направление и характер ее идеализации фрондирующими подданными короля Луи-Филиппа.

Французский легитимистский «русский мираж» угас вместе с французским легитимизмом, который события 1848 г. и последующее установление во Франции Второй империи окончательно маргинализировали. Однако если для истории французской политической мысли этот пласт идеологических представлений может показаться второстепенным²⁵, то для истории русской общественной мысли он существует в высшей степени, поскольку позволяет понять, что уже в 1830-е — 1840-е годы Россия могла представляться Западу не только «жупелом» (каким и рисовали ее многочисленные республиканские издания), но и «идеалом»²⁶.

²⁵ И в самом деле кажется таковым (так, эта проблематика отсутствует в новейшем исследовании легитимизма: *Changy H. de. Le mouvement légitimiste sous la Monarchie de Juillet: 1833–1848. Rennes, 2004*).

²⁶ Следующий этап французского русофильства, на сей раз гораздо более заметный и более подробно исследованный, наступил в конце XIX века, в эпоху подготовки и заключения русско-французского союза; см.: *Cariani G. Une France russophile?: découverte, réception, impact: la diffusion de la culture russe en France de 1881 à 1914. Villeneuve d'Ascq, 2001*; *Данилова О. С. Французское «славянофильство» конца XIX — начала XX века // Россия и Франция: XVIII–XX века. М., 2006. Вып. 7; Мильчина В. А. Русофилы, русофобы и «реалисты»: Россия в восприятии французов // Отечественные записки. 2007. № 5.*